



Паоло Джордано

Черное и серебро

[roman]

Corpus

Новый роман от автора бестселлера
“ОДИНОЧЕСТВО ПРОСТЫХ ЧИСЕЛ”

“

Всякой любви нужно, чтобы кто-то ее увидел,
узнал, подтвердил, иначе любовь можно
принять за иллюзию любви.

Паоло Джордано
Черное и серебро

«Corpus (ACT)»

2014

УДК 821.131.1-31
ББК 84(4Ита)-44

Джордано П.

Черное и серебро / П. Джордано — «Corpus (АСТ)», 2014

ISBN 978-5-17-090764-9

Центральный персонаж этого глубокого и пронзительного романа – синьора А., вдова, которая работает прислугой в семье рассказчика и его жены, Норы, а после рождения сына – няней. Вскоре синьора А. становится твердой опорой и родным человеком, удерживающим от распада эту молодую семью. Роман Паоло Джордано автобиографичен: «Синьора А. действительно присутствовала в моей жизни. Несколько лет она провела в моем доме, с моей семьей, потом ей пришлось покинуть нас. Эта книга вдохновлена ее историей. Она была задумана как дань уважения к ней, как возможность подольше сохранить ее в моей памяти». «Черное и серебро» – роман, ставший мировой сенсацией (2014), подтверждает силу и хрупкость любви, заставляя читателя задуматься о том, которую роль играют в его жизни другие люди.

УДК 821.131.1-31

ББК 84(4Ита)-44

ISBN 978-5-17-090764-9

© Джордано П., 2014

© Corpus (АСТ), 2014

Содержание

Синьора А	6
Райская птица	9
Сироты	12
Бессонница	15
Конец ознакомительного фрагмента.	17

Паоло Джордано

Черное и серебро

Paolo Giordano
IL NERO E L'ARGENTO

© Paolo Giordano, 2014

All rights reserved

© Mirjan van der Meer, front cover photo

© А. Ямпольская, перевод на русский язык, 2017

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2017

© ООО «Издательство АСТ», 2017

Издательство CORPUS ®

* * *

Моей девушке

Что значит любить кого-то? Это значит – всегда схватывать его в массу, извлекать его из пусть даже небольшой группы, коей он причастен, будь то только семья или что-то иное; а затем искать его собственные стай, множества, которые он таит в себе и которые, возможно, совершенно иной природы.

Ж. Делез и Ф. Гваттари. Тысяча плато¹

¹ Перевод Я. Свирского

Синьора А

В день, когда мне исполнилось тридцать пять, у синьоры А. внезапно иссякло упорство, которое я считал ее главным качеством, и, покоясь в слишком просторной для ее тела постели, она покинула наш мир.

Тем утром я поехал в аэропорт за Норой, возвращавшейся из короткой рабочей поездки. Хотя стоял поздний декабрь, зима не торопилась приходить: однообразные равнины, расстилавшиеся по обе стороны автостреды, белели под тонкой пеленой тумана, который притворялся, будто он вовсе не туман, а не осмеливавшийся выпасть снег. Нора ответила на телефонный звонок: сама почти не говорила, в основном слушала. «Ясно, – сказала она, – хорошо, значит, во вторник, – а потом добавила одну из тех фраз, которые дарит нам опыт, когда слов не хватает, – наверное, так оно и лучше».

На первой же заправке я свернул, чтобы Нора смогла выйти из машины и в одиночестве брести по парковке куда глаза глядят. Она тихо плакала, прикрывая правой ладонью рот и нос. Среди бесчисленного множества вещей, которые я узнал о своей жене за десять лет брака, есть одна: в минуты горя ей нужно побыть одной. Внезапно она становится недоступной, не позволяет себя утешать, и я, бессильный свидетель ее страданий, вынужден стоять в стороне; прежде я принимал ее желание спрятать горе за равнодушие.

Оставшуюся часть пути я ехал медленнее: это казалось мне оправданным проявлением уважения. Мы говорили о синьоре А., вспоминали смешные случаи из прошлого, хотя на самом деле смешных случаев было мало, – ничего смешного с ней не происходило, скорее, у нее имелись привычки – привычки, до такой степени вошедшие в нашу семейную жизнь, что стали притчей во языцех: и то, как она каждое утро пересказывала нам гороскоп, который слушала по радио, пока мы еще спали; и то, как устанавливала свою власть в разных частях нашего дома, особенно на кухне, и нам невольно хотелось спросить ее разрешения, прежде чем открыть собственный холодильник; и те мудрые советы, которыми она пресекала все, что казалось ей проявлением способности у нас, молодежи, усложнять себе жизнь; и ее героическое, мужественное прошлое, неискоренимое крохоборство – помнишь, как мы однажды забыли оставить ей деньги на продукты? Она открыла копилку и выгребла всю мелочь, до последнего цента.

Помолчав несколько минут, Нора прибавила:

– И все-таки, какая женщина! Наша Бабетта. Всегда на посту. Даже на этот раз дождалась моего возвращения.

Я не стал говорить, что на картине, нарисованной ею, для меня не нашлось места, и я не решился признаться в том, о чем сам думал в эту минуту: синьора А. дождалась дня моего рождения и ушла. Каждый из нас сейчас придумывал себе мелкое личное утешение. Что нам еще остается, сталкиваясь со смертью, как не выискивать смягчающие обстоятельства, приписывать покойному последнее проявление заботы, обращенной лично к нам, видеть за совпадениями осмысленный план. Однако, рассуждая бесстрастно, с течением времени мне с трудом верится, что все было именно так. Страдание увело синьору А. далеко и от нас, и вообще от всех задолго до того декабрьского вечера, страдание вынудило ее забиться в дальний угол собственного мира – как Нора ушла от меня на парковке, – и там синьора А., отвернувшись от нас, замерла.

Мы так и звали ее – Бабеттой, прозвище нравилось нам, потому что намекало: синьора А. принадлежит нам одним, и нравилось ей, потому что ни у кого такого прозвища не было, да и звучало оно очень по-французски и очень ласково. Эмануэле, наверное, так и не понял, что оно значит; возможно, однажды он наткнется на него в рассказе Карен Бликсен или, что вероятнее, увидит фильм и тогда свяжет одно с другим. Впрочем, он охотно согла-

сился с тем, что в один прекрасный день синьора А. стала Бабеттой, *его* Бабеттой; подозреваю, что для него это имя было созвучно «бабучче» – так назывались шлепанцы, которые его няня надевала, входя в наш дом, а вечером, уходя, аккуратно ставила у скамейки, в прихожей. Когда Нора обнаружила, что подошвы у тапочек стерлись, она подарила ей новые, но синьора А. отнесла их в кладовку и ни разу не надевала. Она всегда так поступала, никогда ничего не меняла, – наоборот, сопротивлялась переменам душой и телом, и, хотя ее упрямство казалось смешным, а порой даже глупым, не стану отрицать – нам оно нравилось. В нашей жизни, в моей жизни, в жизни Норы и Эмануэле, который в то время с каждым днем менялся до неузнаваемости и колыхался на ветру, как молодое деревце, вызывая у нас тревогу, синьора А. была чем-то постоянным, надежным убежищем, старым деревом с таким толстым стволом, что его и втроем не обнять.

В Бабетту она превратилась в одну апрельскую субботу. Эмануэле уже научился говорить, но за столом еще сидел в детском стульчике, значит, это произошло лет пять или шесть тому назад. Синьора А. не один месяц зазывала нас в гости: хоть разок, на обед. Мы с Норой, ловко отклонявшие все предложения, от которых даже отдаленно пахло семейными встречами, долго увиливали, но синьора А. не отступала и каждый понедельник вновь и вновь приглашала нас в гости на выходные. И мы сдались. До Рубианы мы ехали странно сосредоточенные, словно нам предстояло совершить не что-то естественное, а поступок, требующий огромного напряжения. Мы не привыкли сидеть за одним столом с синьорой А., тогда еще не привыкли; несмотря на тесное общение, между нами негласно установилась некоторая дистанция, и, пока мы ели и обсуждали наши дела, она хлопотала, не присаживаясь ни на минуту. Наверное, в то время мы еще не перешли на «ты».

– Рубиана, – сказала Нора, растерянно глядя на поросший густым лесом холм, – ты только представь себе – прожить здесь всю жизнь.

Расточая преувеличенные похвалы, мы осмотрели трехкомнатную квартиру, в которой жила эта одинокая вдова, синьора А. О ее прошлом нам почти ничего не было известно – Нора знала чуть больше меня, и мы не могли понять, какие чувства охватили нас при виде того, что скрывалось в квартире синьоры А.: нам запомнились чрезмерная помпезность, привкус китча и исключительная чистота. Синьора А. накрыла круглый стол в гостиной так изящно, что не к чему было придраться: серебряные приборы лежали в идеальном порядке на скатерти с цветочным узором, рядом стояли тяжелые бокалы с золотым ободком. Мне подумалось, что обед – не более чем предлог, оправдывающий существование сервиза, которым не пользовались годами.

Она покорила нас разнообразием блюд – на столе было все, что мы любим: похлебка из полбы и чечевицы, шницель под маринадом, фенхель, запеченный в легчайшем соусе бешамель, а еще салат из листьев подсолнечника, которые она собрала своими руками, мелко порубила и приправила горчицей и уксусом. Я до сих пор помню каждое блюдо и физическое ощущение: скованность постепенно уходит, и я отдаюсь кулинарным наслаждениям.

– Совсем как Бабетта! – воскликнула Нора.

– Как кто?

Мы пересказали ей историю Бабетты, и синьора А. растрогалась, представив себя на месте поварихи, которая уходит из «Кафе Англе» прислуживать двум старым девам, а потом тратит все свои сбережения, чтобы устроить им настоящий пир. Она вытерла глаза краем передника и быстро отвернулась, словно ей срочно понадобилось что-то поправить.

Прошли годы, прежде чем я вновь увидел на ее лице слезы – на этот раз не радости, а ужаса. К тому времени мы уже были достаточно близкими людьми, чтобы я мог без стеснения взять ее за руку и сказать: «Ты справишься. Многие сдаются, но ты знакома с этой болезнью, потому что однажды ты с ней уже сталкивалась. У тебя хватит сил».

Я и правда так думал. А потом она так быстро сгорела, что я даже не успел проститься с ней как полагается, не успел подобрать слова, чтобы сказать ей, кем она для нас была.

Райская птица (I)

Конец наступил скоро, но прежде настало предвестие конца – по крайней мере, синьоре А. хотелось так думать в последние месяцы, словно предвестие придавало смысл тому, что было простым несчастьем.

За полтора года до того, как ее похоронили, в последние летние деньки она работала в огороде, за домом. Вырывала с корнем уже ненужную фасоль, чтобы освободить место для савойской капусты, как вдруг в нескольких шагах от нее, на один из камней, обозначающий границы ее участка, села птица.

Синьора А., согнувшаяся под бременем своих шестидесяти восьми лет, замирает, чтобы не испугать пристально глядящую на нее птицу. Таких птиц она никогда не видела. Размером похожа на сороку, но совсем другой расцветки: вокруг шеи, до самой грудки, лимонно-желтые перышки, которые растворяются в голубизне спинки и крыльев, длинный белый хвост, а на конце – загнутые, похожие на рыболовные крючки, перья. Присутствие человека птицу ничуть не пугает – наоборот, синьоре А. кажется, будто птица специально села поблизости, чтобы ею любовались. Сердце синьоры А. бьется сильнее, почему – она и сама не знает, колени подгибаются. Она гадает, не принадлежит ли птица к редкому и ценному тропическому виду, не сбегала ли она из клетки коллекционера: в Рубиане таких птиц никогда не водилось. Да и коллекционеров, насколько известно синьоре А., в Рубиане нет.

Птица резко опускает головку и принимается пощипывать клювом крыло. В ее движениях есть что-то лукавое... Нет, не лукавое, не совсем так, а, как бы это сказать... заносчивое. Почистив крыло, птица вновь глядит своими черными глазками прямо в глаза синьоре А. Трепещут прижатые к телу крылья, два медленных вдоха вздымают грудку. Наконец, беззвучно оторвавшись от камня, птица взлетает. Синьора А. следит за ней взглядом, рукой прикрыв глаза от солнца. Ей хочется получше разглядеть птицу, но та быстро исчезает среди растущих неподалеку каменных дубов.

Она снова увидела эту похожую на попугая птицу – на этот раз во сне. Когда она сказала мне об этом, она уже тяжело болела, – трудно было различить, что произошло на самом деле, что ей почудилось, а что было самовнушением. Но все-таки я склонен верить тому, что на следующее утро синьора А. решила поискать изображение птицы в книжке о фауне долины Сузы, которая была у нее дома – она мне эту книгу показывала. Верю и тому, что, не обнаружив там своей птицы, она отправилась к приятелю – художнику, страстному любителю птиц, – об этом визите она рассказала во всех подробностях.

Я так и не понял, какие отношения связывали ее с художником. Говорить об этом она не любила – возможно, из скромности, потому что художник был знаменитым – самым знаменитым из тех, с кем она общалась после смерти Ренато, или она просто его ревновала. Я знаю, что иногда она готовила для него, выполняла его поручения, по сути, была кем-то вроде компаньонки, другом, с которым он коротал время. Думаю, они виделись чаще, чем давала понять синьора А. Каждое воскресенье после мессы она заходила к нему и оставалась до обеда. Вилла художника с ярко-красным фасадом, спрятанная за высокими буками, находилась в трех минутах езды или пяти минутах ходьбы от дома синьоры А., у асфальтированной дороги, описывающей полукруг.

Художник был карликом: она не стеснялась так его называть и произносила это слово не без ехидства. Много лет спустя она призналась, что всю жизнь, думая о нем, задавала себе глупые вопросы, например, каково это – сидеть, не доставая ногами до пола. А еще она не могла оторвать глаз от его рук – от толстых, немного смешных пальцев, умевших творить

чудеса. Художник был единственным мужчиной, на которого синьора А. – ростом чуть выше метра шестидесяти – смотрела сверху вниз, однако он был наделен таким могучим, непобедимым очарованием, что ей казалось, будто не она, а он возвышается над ней. Заходя к художнику в гости, она располагалась в гостиной, превращенной в мастерскую, и там, среди картин и рам, словно возвращалась в то прошлое, когда Ренато брал ее с собой осматривать подвалы и чердаки в поисках редких забытых вещей.

– Наверное, это удоб, – предположил художник тем поздним августовским утром.

Художник был брюзгой, причем в последнее время он брюзжал еще больше, чем прежде, но синьора А. привыкла не обращать на это внимания. Раньше, объяснила она, на вилле было полно галеристов, приятелей и позировавших художнику раздетых девиц. Теперь к художнику приходили всего четыре женщины, приезжие, – они работали по очереди, ухаживали за ним, правда, ни одна из них не была настолько красива, чтобы ее стоило увековечить на холсте. Синьора А. знала, что художник целыми днями думает о прошлом, что он больше почти не пишет картин, что он одинок. Совсем как она.

– Мне прекрасно известно, как выглядит удоб. Никакой это не удоб, – сухо возразила синьора А.

Художник спрыгнул с кресла и исчез в соседней комнате. Синьора А. принялась разглядывать гостиную так, будто не знала ее как свои пять пальцев. Ее любимая картина стояла на полу – незаконченная. На ней была изображена обнаженная женщина, сидящая у столика: красивые, чуть расходящиеся в стороны груди, широкие соски – их розовый цвет был намного глубже, чем розоватый оттенок кожи. Перед женщиной лежали нож и четыре алых персика, – вероятно, она собиралась их очистить. Но не очистила. Женщина навеки замерла, словно ожидая подходящего момента.

– Это была лучшая его картина. И знаешь, в тот день он дописал ее у меня на глазах, за полчаса. Потом спросил: «Ты на своем драндулете прикатила? Тогда забирай». Он поступил так, потому что ему было жалко меня. Почему же еще. Попроси я у него картину, он бы мне ее не отдал. Но он все понял. Раньше других, раньше врачей. Понял, потому что я рассказала ему о птице. Он вернулся в гостиную с кожаной папкой и положил ее мне на колени. «Эта?» – спросил он. Я сразу ее узнала, по загнутым белым перьям на хвосте. Он не встречал таких птиц уже много лет, по крайней мере, с 1971 года. Думал, вымерли. А вышло так, что райская птица прилетела ко мне. Ее так называют – райская птица, хотя она приносит несчастье. Я сказала ему: «Мы с тобой уже старые. Какие у нас могут быть несчастья?» Только подумать: за несколько дней до этого я разбила зеркало. А художник как взвывается. «Какое еще зеркало! – закричал он. – Эта птица приносит смерть!»

Однажды я спросил у Норы, верит ли она в историю с птицей – предвестницей смерти. Она ответила вопросом на вопрос:

– А ты?

– Конечно нет.

– А я – конечно да. В этом мы с тобой никогда не сойдемся.

Был уже поздний вечер. Эмануэле спал, мы, не спеша, убирались на кухне. На столе мы оставили открытой недопитую бутылку вина.

– В чем тебе ее сильнее всего не хватает? – спросил я.

Нора ответила, не раздумывая, словно ответ уже был готов:

– Мне не хватает того, как она заражала нас смелостью. Люди не любят делиться смелостью. Им только хочется убедиться в том, что у тебя смелости еще меньше.

Нора надолго замолчала, повисла пауза. Я так и не научился понимать, естественны ли ее паузы или она тщательно отмеривает их, как актриса.

– А она – нет, – прибавила Нора. – Она всегда за нас болела.

– Ты мне так и не рассказала, о чем вы говорили все время, которое ты пролежала в постели.

– Мы много разговаривали?

– А то.

Нора глотнула вина из бутылки. Только вечером, когда мы остаемся одни, она позволяет себе подобную бесцеремонность, словно усталость и наша близость отменяют все запреты. Вокруг губ остался красноватый след.

– Она говорила, – сказала Нора, – а я слушала. Рассказывала мне про Ренато, он возникал, о чем бы ни заходила речь, словно он еще жив. Я уверена, что дома, одна, она разговаривала с ним вслух. Она призналась, что по-прежнему накрывает для него на стол, хотя прошло столько лет. По-моему, это очень романтично. Романтично и немного смешно. Но в романтичном всегда есть что-то смешное, нет?

Каждый вечер, особенно в первые месяцы после смерти синьоры А., мы с Норой вели подобные разговоры. Это помогало нам не поддаваться растерянности: мы вновь и вновь все проговаривали, растворяли растерянность в словах, пока нам не начинало казаться, будто наши слова – прозрачная вода. Синьора А. была единственным свидетелем наших каждодневных усилий, единственным свидетелем, знавшим, что нас связывает; говоря о Ренато, она словно пыталась что-то нам подсказать, передать то, что осталось от их истории любви – прекрасной и незамутненной и при этом недолгой и несчастливой. Вообще-то всякой любви нужно, чтобы кто-то ее увидел, узнал, подтвердил, иначе любовь можно принять за мираж. Теперь, когда взгляд синьоры А. не был обращен на нас, мы чувствовали себя в опасности.

И все-таки на похороны мы опоздали. Собрались мы вовремя, но потом занялись какой-то ерундой, словно то, что нам предстояло, было одним из множества дел. Эмануэле вел себя особенно беспокойно, капризничал, все спрашивал, что это такое «отправиться на небеса», как так может быть, что человек уходит и больше не возвращается. Он знал ответы на эти вопросы, для него они были просто предлогом, чтобы выплеснуть возбуждение (для ребенка первые похороны – разве это не нечто удивительное?), но мы не были склонны потворствовать ему. Мы просто не обращали на него внимания.

По дороге в церковь семейное единство рухнуло окончательно. Нора ругала меня за то, что я поехал самым длинным путем, я принялся перечислять все бесполезные дела, которые она переделала, прежде чем выйти из дома, – например, *накрасилась*, будто на похороны принято приходить в макияже. Будь с нами синьора А., она бы сразу отыскала в своей коллекции нужную фразу, чтобы заставить нас замолчать, но, защищенная от всего мира сосновыми досками, она спокойно ждала нас на отпевании.

Растерянные, мы вошли в церковь, где собралось куда больше народа, чем мы ожидали. Службу я почти не слушал – тревожился за машину, которую в спешке припарковал на обочине узкой дороги. Я воображал, как автобус, один из тех, что обслуживают загородные маршруты, стоит и ждет меня, а пассажиры высыпали из него и гадают, из-за какого идиота они застряли здесь; но я так и не решился выйти из церкви и посмотреть. В конце похорон нам не пришлось никого обнимать – нам некого было утешать своим присутствием, наверное, мы сами ждали утешений.

Эмануэле хотел проводить гроб до самого конца. Мы подумали, что это каприз, глупое любопытство, и не разрешили. Похороны – не детское дело, а эти похороны вообще не были нашим делом. Это дело семьи, близких друзей, а кем были мы для синьоры А.? Работодателями, ну или чуть больше. Смерть перераспределяет роли формально, по степени важности, мгновенно отменяет отступления от правил, которые человек позволяет себе при жизни: не важно, что Эмануэле был для синьоры А. как внук, что мы с Норой считали себя ее приемными детьми. На самом деле мы ими не были.

Сироты

Призвание заботиться о других, носившее почти религиозный характер (или ставшее следствием печальных обстоятельств), и привело ее к нам. Когда стало ясно, что беременность Норы совсем не похожа на чудесную картину, которую мы себе рисовали, и что плод энергично зашевелился, решив появиться на свет на двадцать четвертой неделе, мы обратились за помощью к ней – мы узнали, что она не занята, как только мой тесть понял, что обойдется без домработницы. Поскольку жена была прикована к постели, мне пришлось самому показывать дом синьоре А., исхитряясь объяснять подробности, в которых я разбирался плохо: куда налить ополаскиватель, а куда жидкий стиральный порошок, как менять мешки в пылесосе, как часто поливать растения на балконе. Не успели мы пройти наш туристический маршрут до середины, как синьора А. прервала меня: «Ладно, идите! Идите и ни о чем не волнуйтесь».

Вечером, вернувшись с работы, я увидел, что она сидит у изголовья Нориной постели, словно наострившая уши сторожевая собака. Они продолжали беседовать, но синьора А. уже надела кольца и закрепила кардиган на груди брошкой, пальто было накинуто на плечи. Увидев меня, она поднялась с энергией человека, который ничуть не устал, потом проводила меня на кухню – дать инструкции насчет блюд, которые она приготовила на ужин, а также о том, как разогреть еду, чтобы не пересушить ее, и где потом оставить кастрюли. «Не мойте, я сама завтра все сделаю», – непременно прибавляла она. Поначалу я не слушался, но, когда заметил, что утром она заново переживает вымытую мною посуду, сдался и признал ее власть.

Порой подобная непогрешимость раздражала, порой было трудно выносить синьору А. с ее самоуверенностью и основанными на здравом смысле, но не слишком оригинальными жизненными правилами. Нередко Нора, проведя с синьорой А. большую часть дня, переносила на нее вину за то, что ей не одну неделю придется проваляться в постели: «Она тяжелый человек! – жаловалась Нора. – Тяжелый, а главное, *помешанный на порядке!*»

Как только мы препоручили себя заботе чужого человека (тогда нам не верилось, что мы будем окружены заботой и что мы того заслуживаем), мы сразу же начали изобретать разные уловки, чтобы от нее увильнуть.

Мы с Норой иногда ходили в ресторан – вообще-то не в настоящий ресторан, а в рыбный магазин, перед которым вечером расставляли узкие столики, накрывали их полиэтиленовыми скатертями, раскладывали на них одноразовые приборы и подавали жареную рыбу в алюминиевых контейнерах. Мы наткнулись на этот ресторанчик вскоре после свадьбы, и с тех пор он стал нашим. До того как мы с женой рискнули забраться в эту дыру на окраине, ракообразные и моллюски мне совсем не нравились (до встречи с Норой мне многое не нравилось), но я обожал смотреть, как она ест, как сосредоточенно чистит креветки, а потом передает половину мне и настаивает, чтобы я их съел, обожал смотреть, как она вытаскивает из раковин морских улиток и как облизывает влажные пальцы в перерыве между блюдами. Пока тот рыбный не закрылся и у нас не пропала второстепенная, но очень важная точка опоры, мы могли предаваться в нем одному из ритуалов, недоступному посторонним и известному только членам нашего племени. Все судьбоносные разговоры, драматические признания, празднование дат, значение которых было понятно нам одним, – все происходило в этом ресторанчике. Когда мы уходили, волосы Норы и наша одежда были пропитаны маслом, и мы несли этот запах с собой в дом, как печать, скрепляющую принятые решения, истину, которую удалось отыскать.

Синьора А. заявила, что Норе в ее положении нельзя брать в рот ни кусочка «этой гадо-сти», как выразилась она, изучив с видом сурового таможенника содержание контейнеров, которые я привез на ужин из рыбного.

– И вам тоже, – прибавила она, указывая на меня пальцем. – Я приготовила мясной рулет.

Она завернула жареную рыбу, за которую я отдал сорок евро, обратно в бумагу и лично удостоверилась, что рыба оказалась в мусорном баке на улице.

Мы научились ее обманывать. Когда Норе отчаянно хотелось поестъ кольца кальмаров и каракатиц в кляре, я тайком отправлялся в наш ресторан, но сверток не доставал из машины, пока не уходила синьора А. Потом, чтобы не вызывать подозрений, мы выкидывали на помойку большую часть приготовленного ею ужина.

– А вдруг она почувствует запах жареной рыбы? – тревожилась Нора, и тогда я обходил дом с аэрозолем в руках, разбрызгивая жидкость с запахом цитрусовых – Нора умоляла не смешить ее, а то, не дай бог, начнутся схватки.

– Дай-ка я посмотрю, не застряли ли у тебя между зубов кусочки креветок! – требовал я.

– Она же не станет заглядывать мне в рот!

– От нее ничего не укроется.

Потом я целовал ее в губы и просовывал руку за шиворот ночной рубашки, чтобы почувствовать ее тепло. Мы искали тенистые места, надеясь спрятаться от вездесущего взгляда Бабетты, проникавшего всюду, словно солнце в зените.

Когда родился Эмануэле, мы уже были слишком избалованы, чтобы отказаться от ее помощи. Из Нориной сиделки синьора А. превратилась в няню нашего сына, словно одно занятие естественно перетекало в другое, и, хотя прежде она никогда не ухаживала за новорожденными, сразу стало понятно, что она ясно представляла себе, что и как делать, – намного яснее, чем мы.

Ее зарплата легла бременем на наш семейный бюджет, но все же не слишком тяжким: она ведь не считала, сколько часов посвящала нам, и, насколько я помню, мы с ней не обсуждали почасовую оплату. В пятницу она без возражений принимала ту сумму, которая, по нашему мнению, ей полагалась и которую Нора рассчитывала согласно известным ей одной загадочным и весьма гибким тарифам. Синьора А. более восьми лет каждое утро, по будням появлялась у дверей нашего дома в назначенный час и, чтобы не застать нас врасплох, звонила, прежде чем отпереть дверь своими ключами. Приходя с покупками, она сразу же протягивала чек и замирала в ожидании того, что мы выдадим ей соответствующую сумму.

Когда Эмануэле пошел в детский сад, его сопровождали мы с Норой и синьора А. Но, когда он пошел в первый класс, провожать каждого ребенка разрешалось лишь двум взрослым – и мне пришлось уступить. Если кто-нибудь по ошибке называл его Бабетту «бабушкой», Эмануэле не поправлял. Синьора А. чувствовала, что у нее в руках не больше и не меньше, как нежное сердце ее малыша, так оно и было на самом деле.

Легко представить себе, насколько мы были разочарованы и огорчены, когда в первые дни сентября 2011 года, в самом начале учебного года, синьора А., чья помощь была нам очень нужна, твердо заявила, что больше к нам не придет.

– Можно узнать, почему? – спросила Нора, не столько опечаленная, сколько раздраженная. Когда речь идет о работе, существуют строгие правила: полагается предупредить заранее, отправить по почте письмо с заявлением об уходе и держать данное слово.

– Потому что я устала, – ответила синьора А., в ее голосе сквозила обида.

Разговор быстро закончился: невнятные ссылки на усталость перечеркнули восемь лет сотрудничества, почти восемь лет совместной жизни.

Она и правда больше к нам не приходила. Из нас троих только Эмануэле тогда еще не успел понять, что человеческие отношения не длятся вечно. Только он не знал, что это не всегда плохо. Но когда настало время сообщить ему, что его няня больше не будет приходить, трудно было найти плюсы в сложившейся ситуации, и мы с Норой решили выждать. Прошла неделя, и он сам спросил:

– Когда придет Бабетта?

– Пока что она не сможет приходить к нам. А теперь пойдика надень пижаму.

Однако и мы, обиженные и напуганные внезапно свалившейся на нас горой домашних забот, спрашиваем себя, что же на самом деле произошло, чем мы провинились. Мы вновь и вновь говорим об этом, словно сироты. Наконец мы решаем, что угадали наиболее вероятную причину молчания синьоры А. Дней за десять до ее ухода у дверей нашего дома появилось объявление, написанное от руки печатными буквами. Женщина, снимающая гараж рядом с нами, взывала к совести разбойника, который основательно разбил ей дверь багажника, – она предлагала ему набраться смелости и признаться. На ее призыв так никто и не откликнулся, бумажка долго колыхалась на ветру. Нора поклялась мне, что не имеет к этой истории никакого отношения: ей было прекрасно известно, что в списке подозреваемых ее имя стоит на первом месте не только из-за расположения боксов, но и из-за ее небрежной и неловкой манеры вождения. Кроме нас, гаражом пользовалась только синьора А. Чтобы не скормливать каждый день паркомату горы монет, она занимала то пространство, которое я освобождал утром. Я спросил ее, не ударялась ли она о багажник соседкиной машины, всякое бывает, ничего страшного, я бы сам все уладил. Она едва обернулась ко мне: «Да ты что, я тут ни при чем. Небось сама и разбила. У нее не машина, а грузовик».

– Точно! – говорит Нора, убеждая себя и меня в справедливости только что придуманной версии. Одиннадцать вечера, мы лежим в постели. – Так все и было. Ты же знаешь, какая она обидчивая.

– Значит, багажник разбила она.

Нора перебивает меня:

– Какое нам дело до багажника? Надо ей позвонить.

Так, на следующее утро, во время перерыва в семинаре по теории групп, которую я, судя по потерянными взглядам ребят, излагаю еще путаннее, чем обычно, я звоню синьоре А. Извиняюсь перед ней за резкие слова и говорю, что, если она из-за этого не хочет больше работать у нас, я ее понимаю, но мы готовы все исправить. Ради пущей убедительности я рассказываю об Эмануэле, как он без нее скучает.

– История с гаражом ни при чем, – коротко отвечает синьора А. – Я же вам сказала: у меня нет сил.

Разговор на этом заканчивается, мы собираемся холодно попрощаться, и я впервые слышу, что она кашляет. Не так, как кашляют в сырую погоду. Кашляет резко, задыхаясь, словно кто-то забавляется, щелкая пальцами у нее в трахее.

– Что с тобой? – спрашиваю я.

– Кашель. Никак не проходит.

– К врачу ходила?

– Нет, но пойду. Пойду.

Бессонница

У нас дома сразу стало заметно, что синьора А. дезертировала: ее отсутствие выдавали многочисленные признаки запущенности, которые особенно бросались в глаза на письменном столе Норы. Горы бумаг – они и прежде могли поспорить по высоте со средневековыми башнями – теперь достигают пугающих размеров, а потом они обрушиваются, образуя гигантский бумажный курган. Среди ненужных бумаг наверняка прячутся нужные: неоплаченные счета, объявления, принесенные Эмануэле из школы, телефонные номера, которые Нора упорно записывает на клейких листочках, и дизайн-проекты: когда заказчики требуют их представить, Нора наверняка испытает стресс. Не то чтобы синьора А. прикасалась к документам – она делала вид, что этого не было, но часто после того, как она, убираясь на столе, складывала бумаги ровными кучками, конверт, который моя жена безуспешно искала несколько дней, находился, как по волшебству: синьора А. поместила его сверху, словно он попался ей совершенно случайно.

– Мне предложили отреставрировать шале в Шамуа, – объявляет Нора однажды утром, в воскресенье. Нора говорит громко, чтобы перекричать гул пылесоса: она яростно пылесосит совершенно чистый пол. – Отличный проект. *Мог быть* отличный проект. Жаль, что придется отказаться.

– Отказаться? А почему?

– Ты что, не видишь, в каком я состоянии! Мне даже передохнуть некогда, разве я могу заниматься проектом в Валле-д’Аоста? Видишь журналы на диване? Они валяются там с утра, я собиралась их полистать, но вряд ли получится. – Она тянет пылесос слишком сильно, и вилка со щелчком выскакивает из розетки. Внезапная тишина словно сбивает ее с толку. Она опять глядит на журналы.

– А ведь там есть нужные мне статьи, – говорит Нора. – Правда, нужные.

Мы обращаемся за помощью к Нориной маме. Нехотя она приходит к нам несколько раз. Войдя в квартиру, приступает к кофейному ритуалу – для удачи: варит кофе и не спеша пьет, стоя на пороге между балконом и кухней, курит и ожидает, что кто-то будет ее развлекать; потом убирает волосы, надевает перчатки и чистый передник и, останавливаясь перед зеркалом, внимательно следит за происходящими изменениями. Превратившись в домработницу с картинки, она спрашивает дочь:

– Ну, что надо сделать?

К тому времени терпение Норы иссякает:

– Все надо, ты что, не видишь?

Они так ругаются, что Норина мама с обиженным видом отправляется домой. Не проходит и месяца, как мы перестаем ее звать, а она не предлагает свои услуги.

Короткая история с девушкой, которая соглашается помогать нам с Эмануэле в обмен на проживание, оказывается не лучше. Нора считает ее ленивой и апатичной, жалуется, что та плохо знает итальянский, не понимает ее указаний и не любит порядок.

– А еще она так на тебя смотрит...

– Смотрит на меня?

– Ясное дело, она положила на тебя глаз.

– Да ты с ума сошла!

– Поэтому она делает мне гадости, вот, разбила сервиз. Она знала, что я им дорожу. Не то чтобы она разбила его нарочно. Нет. Она бессознательно хотела мне досадить.

Я настаиваю: в конце концов мы кого-нибудь найдем, надо только продолжать поиски, но Нора меня почти не слушает.

– Нет. Никого мы не найдем, – бормочет она, – никого подходящего. Никого, кто может сравниться с ней.

Пока жена выплескивает свою растерянность днем, становясь все более раздражительной и капризной, я терплю, пока не настанет ночь – еще одно различие между нами (с самого начала нашего знакомства ее отдых был священным). Я так не мучился от бессонницы со времен аспирантуры, когда пришлось смириться с тем, что между обычной жизнью целого города и моей разница во времени составляет четыре-пять часов, словно я живу один на острове, где-то в центре Атлантического океана, или работаю в ночную смену. В последние годы бессонница почти не напоминала о себе, разве что я хуже спал осенью и весной. Теперь она снова вернулась, меня это беспокоит: каждую ночь я просыпаюсь ровно в три и долго лежу, разглядывая слабые отблески света в окнах, иногда так и не засыпаю до рассвета. Если в годы аспирантуры я мог хоть немного поспать днем, сейчас, когда у меня Эмануэле и студенты, стрелка будильника неумолимо указывает на половину восьмого, а недостаток сна и отдыха отзывается все острее.

Чтобы унять свое беспокойство, я пытаюсь продолжить в уме расчеты, которыми занимался днем. Хочется встать, взять листок бумаги и карандаш, чтобы все записать, но я не решаюсь. Нора запретила мне работать по ночам, после того как я признался ей, что, если я работаю ночью, цифры, буквы и функции стоят у меня перед глазами много часов, и я вообще не могу уснуть. Сейчас, во время вынужденного бдения, я поглаживаю женин бок в надежде, что она приоткроет глаза. Иногда я думаю о синьоре А., и меня охватывает грусть, чувство потери.

Когда я был маленьким, у меня тоже была няня. Ее звали Тереза, для нас – Терезина, она жила на другом берегу реки. Я плохо ее помню, например, не помню, дотрагивался ли я до нее, обнимал ли, не помню, чем от нее пахло. Обычно у людей остаются воспоминания, связанные с органами чувств, – успокаивающие, теплые, к ним хочется вновь и вновь возвращаться. Со мной не так: из моей памяти легко стирается все, что не относится к области визуального. От Терезы у меня остались разрозненные картинки – например, как она для жарки режет картошку ломтиками, не снимая кожуру. Еще я помню ее колготы, бежевые, матовые, одной и той же плотности, независимо от времени года. А еще она дарила мне деньги, это я тоже хорошо помню. Но самый яркий эпизод, который вытеснил все остальное, относится к нашей последней встрече. Я уже был старшеклассником, когда мама решила, что я должен пожертвовать свободным днем и навестить няню. Мы отправились в бедный район – я бывал там много лет назад, и нянина квартира запомнилась мне как нечто сказочное, зато теперь, став подростком, я видел все в черно-белом цвете, и эта квартира показалась мне убогой, там просто нечем было дышать. Терезина жила в четырехкомнатной квартире вместе с сыном и его семьей. Целыми днями она сидела в кресле, присматривая за гиперактивной внучкой, которая скакала вокруг, а иногда запрыгивала на нее, как обезьянка. Значит, родители доверили присматривать за мной женщине из бедноты: не знаю почему, но тогда это открытие меня возмутило. Сказав все подходящие слова, мы немного посидели, слушая шумное дыхание няни. Когда мы собрались уходить, Терезина достала из кошелька банкноту и настояла на том, чтобы я ее взял, словно повинуюсь давней привычке. Я был в ужасе, но прочел мамин взгляд и взял деньги.

Кто знает, какой багаж воспоминаний о синьоре А. останется у моего сына, когда он вырастет. Наверное, багаж этот будет куда скромнее, чем представляется мне. В любом случае – решаю я, снова сдвигая одеяло и выбирая компромиссный вариант (одна нога на одеяле, вторая – под ним), я не предложу Эмануэле навестить ее. Когда отношения разрываются, лучше, чтобы они разорвались резко, раз и навсегда, даже если это отношения между пожилой няней и ее воспитанником.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.